

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Научная статья

УДК 821.161.1

doi: 10.17223/19986645/97/7

«Непарадная» Новороссия в травелоге И.М. Долгорукого «Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года»

Сергей Сергеевич Жданов^{1,2}

¹ *Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск, Россия,*

² *Сибирский государственный университет геосистем и технологий,*

Новосибирск, Россия

^{1,2} *fstud2008@yandex.ru*

Аннотация. Рассмотрена репрезентация пространства Новороссии в травелоге И.М. Долгорукого «Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года». Отмечена значительная роль остранения и травестии в описаниях. Установлено, что Новороссия как фронтирное пространство маркирована мотивами новизны, неустойчивости, батальности, маргинальности, этнической и религиозной пестроты, большей свободы и потенциалов развития. Выделен мифопоэтический образ «демиурга», который упорядочивает новые энтропийные топосы.

Ключевые слова: имагология, травелог, пространство, Новороссия, И.М. Долгорукий, травестия, русская литература

Источник финансирования: исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 24-28-01431 «Репрезентация пространства Украины в русской культуре конца XVIII–XIX веков (на материале отечественных травелогов): курсы, нарративы, топосы», <https://rscf.ru/project/24-28-01431/>)

Для цитирования: Жданов С.С. «Непарадная» Новороссия в травелоге И.М. Долгорукого «Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года» // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2025. № 97. С. 135–164. doi: 10.17223/19986645/97/7

Original article

doi: 10.17223/19986645/97/7

"Unceremonial" Novorossiia in Ivan Dolgoruky's travelogue "Far-off Bells Always Ring Sweet, or My Journey Somewhere in 1810"

Sergey S. Zhdanov^{1,2}

¹ *Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation*

² *Siberian State University of Geosystems and Technologies,*

Novosibirsk, Russian Federation

^{1,2} *fstud2008@yandex.ru*

Abstract. This article examines the representation of the Novorossiia space in Ivan Dolgoruky's travelogue "Far-off Bells Always Ring Sweet, or My Journey Somewhere in 1810". This representation is characterized by defamiliarization, travesty, and ambivalence, stemming from the frontieriness of the described space. Its development is depicted in both military (reclaiming lands from the Turks) and peaceful (colonization) terms. Frontieriness implies motifs of novelty and instability (social, economic, climatic, etc.). A marker of Novorossiia is also its ethnic and religious diversity, the combination of Western and Eastern (Asiatic) features in the characterization of the space. The Novorossiian representation also includes motifs of marginality (images of convicts, thieves, fugitives), a greater degree of freedom due to the instability of power and laws, and potential for development and greater opportunities, which, in turn, actualizes the motif of *urgia* (ordering work) that organizes the space, and the mythopoetic image of "demiurge"-orderers. In this regard, a number of key figures in the Novorossiian personosphere can be identified: Empresses Elizabeth and Catherine, Potemkin, Faleev, de Traversay, the Duc de Richelieu, most of whom are associated with both military and peaceful development of new lands. Exclusively associated with the battleground space are the images of Münnich, Suvorov, Volkonsky, Gorich, Miller, and Prince of Württemberg. However, the most significant figure in the semiotized Novorossiian history, according to Dolgoruky, is the mythologized, partially defamiliarized and travestied image of Potemkin as the genius loci of Novorossiia, whose "theophany" is most vividly manifested in the topos of Nikolaev, especially in the sentimentalist descriptions of its surroundings – the Spassky and Bogoyavlensky gardens. The motif of instability, in this connection, gives rise to motifs of unrealized potential, ruined plans, and forgotten historical achievements. The motif of frontier novelty is actualized differently in local variants of Novorossiia. For instance, in the steppe space, novelty appears as entropic and is marked by wildness, emptiness, boredom, horror, desolation, treelessness, waterlessness, heat, discomfort, ruin, and death. However, the presence of as-yet-unrealized possibilities within the chaotic topos gives rise to the motif of the steppe's potential abundance. Various combinations of entropy and order characterize the description of demi-natural and urban topoi of Novorossiia – from provincial, empty, boring villages and towns to the highly organized space of large cities and, especially, the loci of gardens, which represent an "anti-steppe." Among the triad of key Novorossiian urban topoi, Dolgoruky's description of Kherson exhibits the greatest entropy, while that of Nikolaev the least. The middle variant presents the image of ambivalent Odessa, shown as a space in the making, one that has not yet realized its potential due to novelty and politico-economic circumstances, and which acts as an "anti-Paris" within the context of the travelogue.

Keywords: imagery, travelogue, space, Novorossiia, I.M. Dolgoruky, travesty, Russian literature

Acknowledgments: The study was supported by the Russian Science Foundation, Project No. 24-28-01431, <https://rscf.ru/project/24-28-01431/>

For citation: Zhdanov, S.S. (2025) "Unceremonial" Novorossiia in Ivan Dolgoruky's travelogue "Far-off Bells Always Ring Sweet, or My Journey Somewhere in 1810". *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 97. pp. 135–164. (In Russian). doi: 10.17223/19986645/97/7

Имажинально-географическая Новороссия в отечественной гуманитаристике значительное время рассматривалась в рамках украинской проблематики, например, в исследованиях А.В. Марчукова [1], Т.В. Васильевой [2],

С.О. Курьянова [3]. Иным вариантом изучения данной темы стали работы, связанные с крымскими текстом или мифом [4–9]. Однако следует отметить, что, несмотря на наличие исследований, в которых анализируются (вскользь [10, 11] или подробно [12, 13]) иные новороссийские топосы, репрезентация пространства Новороссии в русской литературе начала XIX в. как объект научного внимания еще изобилует лакунами. В связи с этим большой интерес с точки зрения литературоведческой имагологии представляет травелог И.М. Долгорукого «Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года». Разумеется, данный текст привлекал внимание литературоведов в работах, посвященных как особенностям травелогов [14, 15], так и украинскости [16; 17] и казацкости [18]. Но ни в одном из указанных источников особенности репрезентация пространства Новороссии в травелоге Долгорукого, которые является предметом данного исследования, не рассматривалась подробно.

Примечательным этот текст делает авторский тон повествования. Травелог «Славны бубны за горами...» отличается и от сентименталистских по духу «Путешествия в полуденную Россию» В.В. Измайлова или «Писем из Малороссии» А.И. Левшина, и от более рационалистических, связанных с традицией XVIII в. [19. С. 242], двух «новороссийских» текстов П.И. Сумарокова. Хотя произведение Долгорукого содержит как сентименталистские элементы, например пейзажные описания садов, так и порой весьма подробные фактографические репрезентации малороссийского и новороссийского пространств, главную особенность, на наш взгляд, данного текста, однако, составляет установка на травестизацию и остранение повествования, что сближает его с зарубежными письмами Фонвизина, где также мы встречаем мотив «славных за горами бубнов», ставший «смысловым рефреном» [15. С. 122] и «устойчивым метафорическим отзывом в русской словесности о другой культуре» на рубеже XIX в. [14. С. 373].

Важно также учесть, что вышеупомянутые авторы путевой прозы о Новороссии/Малороссии в своих описаниях балансировали между фокусами повествования, которые можно обозначить как «историю» (пространство исторической памяти), «географию» (ландшафтные описания) и «повседневность» (бытовые зарисовки об антропности пространства Чужого). Соотношение этих фокусов порождает своеобразие конкретного произведения. Если, например, Левшин делает акцент на «истории», то Долгорукий отдает предпочтение повседневности, пропущенной через призму травестирующей иронии и остранения, в результате чего изложение исторических фактов занимает меньшее место на страницах текста «Славны бубны за горами...» и, как покажем далее, порождает порой весьма своеобразные интерпретации, отличные от изображения пространства исторической памяти Новороссии в иных русских травелогах. В своем интересе к повседневности, в том числе ко всякого рода развлечениям в рамках провинциальной жизни, травелог Долгорукого несколько напоминает более поздние «Путевые записки по России...» М.П. Жданова, но последние лишены ярко выраженного травестирующего элемента. Более того, автор первого текста в самом его начале заявляет приватный характер своего путешествия и, соответственно, собственных наблюдений за пространством.

Во главу угла поставлен мотив развлечения путешественника¹, причем пространство Новороссии здесь травестизировано, подано как своего рода эрзац французского вояжа, где Париж выступает эталоном, а Одесса его грубой заменой: «Уехал бы в Париж, потому что люблю шум, гам, театр, роскошь и прочее; а где все этого более, как не во Франции? Но у кого нет ни вотчин, ни денег, тот живет, как Бог велит. <...> Я решился и поехал... в Одессу» [20. С. 1].

Возможно, в этом проявляется карамзинская традиция — эпатирующая маска петиметра [21. С. 571], которая, однако, остранена, поскольку помещена в пространство Новороссии, где нарратор практически лишен возможности следовать своей линии поведения, жить роскошной жизнью. Отъезд из Москвы, расставание с пространством Своего, также описан по-карамзински эмоционально, причем в стихах²: «Тебя ли, родина, забуду, Москва, мой отчий дом, мой рай!» [20. С. 1]. Но тон изображения Малороссии и Новороссии скорее фонвизинский. Если «Письма русского путешественника» характеризуются «ксенофилией», приязнью к Чужому, то у Долгорукого мы чаще встречаем иронию по отношению к нему, причем мотив чужести является лейтмотивом текста, который нарастает с момента попадания нарратора в Харьковщину, а в пространстве Полтавы является во всей полноте: «Здесь уже я почитал себя в чужих краях» [20. С. 64]. Автор называет киевлян «как бы чужеземцами» [20. С. 299], уподобляет малороссию «антиподам» [20. С. 246].

Фронтирная Новороссия также изображена амбивалентно как смешение пространств Своего и Чужого в исторической динамике, т.е. нельзя утверждать, что границы между этими началами в тексте незыблемы. Так, в Николаевской степи автор подчеркивает неустойчивость топоса, ранее чужого, но теперь отчасти своего: «Полвека назад мы бы думали, что едем в чужие края <...>. Время все превращает: наша подорожная почти до Царьграда нам также хорошо ныне служила, как бы от Петербурга до Москвы, и мы... в чужой стороне почитали себя дома» [20. С. 105]. В одесском же пространстве нарратор замечает: «Россиянин в Одессе, конечно, не дома» [20. С. 134]. Маркирование топоса Одессы как не своего также подчеркнуто в сцене отъезда из города: «Мы... поскакали в Россию. Так изъясняются все, говоря здесь о нашей стороне, когда в нее собираются ехать» [20. С. 175]. В то же время при всей любви Долгорукого к Своему, пространственно определенному прежде всего как Москва и Владимир, автор остается «западником», что ясно из признания в любви к французскому топосу, и во

¹ Мотив развлечения подан как «фантазия» и «бесцельность», отсутствие серьезной цели: «чего не делает Фантазия! Еду без нужды, без цели, только чтоб ехать» [20. С. 1]. Ср. с «высокой», «исторической» целью вояжа Левшина.

² Впрочем, сцене стихотворного прощания присуща некоторая острающая театральность, которую усиливает сам нарратор, уподобляя себя «новому Хореву» [20. С. 1], очевидно, герою сумароковской трагедии, тем самым смешивая высокий (расставание с родиной) и низкий (травестийное путешествие «без цели») планы и одновременно задавая малороссийский (киевский) контекст вояжа.

многим критикует новороссийское в ориенталистском духе как недоупорядоченное, не соответствующее «цивилизованному» образцу. Однако¹ те атрибуты в Новороссии, которые соответствуют авторскому «просвещенному эталону» восприятия, подмечаются и превозносятся даже в сравнении со Своим, условно русским: «В обществе Черноморских краев я забывал, что я в России, где... молодые люди без извинения толкают дам и девушек, марают их нежные платья грубыми своими сапогами, дерут их шпорами безбожно. Я думал, что я в какой-нибудь иностранной пристани Средиземного моря: все говорят чужеземными языками или своего природного не коверкают» [20. С. 183].

Чужестра Малороссии и Новороссии в тексте Долгорукого, однако, разная. Если первое лиминальное пространство во многом изображено как топос взаимодействия русскости и польскости, то второе представляет собой фронтир. Это пространство отвоеванное (ср. «сторона завоеванная» [20. С. 177] – об одесских окрестностях) и отвоевываемое до сих пор у Османской империи. То и дело упоминаемая продолжающаяся война в Молдавии составляет батальный контекст повествования. Например, Долгорукий с целью остранения смешивает мирную и военную сферу в изображении обоза с сахаром, встреченного под Полтавой (здесь Малороссия есть транзитная территория) и следующего «из Белева в Молдавию»: «Казалось бы, на что там сахар, где друг друга режут всякий день: однако, Русскому воину и за полчаса до смерти сладкого пуншу стакан непротивен» [20. С. 59–60]. Из киевского Арсенала «пропасть» «бомб и ядер» «беспрестанно на волах возят в Молдавию: дня два постоят вокруг Арсенала пирамиды, а потом и в поход. Чалма тянет к себе наш чугун, как магнит железо» [20. С. 292]. Сама же Новороссия выступает, с одной стороны, как убежище от войны (в топосе Елисаветграда упомянут травестированный через сравнение с рыбой образ «знатного Молдавана», «многие дают ему титул Господаря... война с Турками выбросила на наши берега этого крупного осетра» [20. С. 102]; в селекции Терновки под Николаевом «обитают Болгары, вытесненные Турками из Адрианополя и прибегшие под покровительство России» [20. С. 201]), а с другой – как место относительной вольницы и, соответственно, ограниченного помещичьего произвола: «Границы близки: один (беглый. – С.Ж.) скрывается в Молдавии, другой в Турции; и так нет у помещика ничего надежного» [20. С. 177]. При этом турецкая угроза представляет собой часть новороссийской жизни: «Дюк опять сегодня проскакал в Крым: видно, флот Турецкий хоть не страшен, да и не забавен» [20. С. 198]. Кроме того, Долгорукий сообщает, что не поехал в Крым из-за угрозы вторжения османского флота, но «Турки потерлись... около наших судов с хлебом... и ушли» [20. С. 178]. Турецкие пленные (и перебежчики) формируют еще один устойчи-

¹ Позиция нарратора колеблется, что с учетом травестизации повествования создает неопределенность оценок и ролей, когда не доехавший до Франции петиметр или чиновник-космополит [20. С. 64] превращается в горячего патриота, сетующего о забвении россиянами деяний Петра в Полтаве [20. С. 75].

вый антропный элемент новороссийского пространства: «В Николаев загна́ли несколько Турецких Пашей <...>; иные пленные, другие, изменив народу своему, перебежали к нам» [20. С. 120]; «Недалеко от города (Новомиргорода. – С.Ж.) встретились нам кучи Турок пленных» [20. С. 206]. Образ Новороссии как потенциально конфликтного пространства зафиксирован и в репрезентации локуса одесской военной гавани, где остранным смешаны черты сакрального и батального: «там все пушки вычищены, приготовлены, как полы в церквах на Светлый День Христов, <...> только покажись Чалма, то и бац из нескольких сот орудий» [20. С. 173]. В другом фрагменте сообщено об орудиях, которые иронически названы «мебелью», и в торговой гавани: «Гавани обе, военная и купеческая, снабжены большим числом орудий: прекрасная на море мебель! Они всегда готовы к делу, и около их не спят» [20. С. 147]. Но в той же Одессе турецкость маркирована, несмотря на войну, и в пространстве повседневности, пусть и с негативным оттенком: «Извозчик... сдал мне какую-то Турецкую монету, и я стал немножко ознакомливаться с иностранными деньгами, да и с какими же? С самыми неверными и неприязненными» [20. С. 135]. «Турецкие деньги в Одессе ходят свободно: их берут купец, разносчик, ямщик; всякий сдает на них нашими деньгами без затруднения» [20. С. 143]. В пространстве исторической памяти встречаем и ориенталистский образ гарема при описании топоса Терновки: «Прежде тут была Турецкая слободка; в ней видны и поднесь разоренный дом Паши и маленькая рощица <...>. Здесь в уединении он, чаю, исповедовался в тайне своему Пророку и лобызал раболепных наложниц» [20. С. 201].

В известной мере Долгорукий воспринимает Новороссию как медиационное, транзитное пространство между Вторым и Третьим Римами – Царьградом и Москвой. По крайней мере, первый топос (причем не как Стамбул, а именно мифопоэтический, по сути, Царьград) не раз актуализирован в пространственной привязке описываемых топосов: «подорожная почти до Царьграда нам... служила, как бы от Петербурга до Москвы» [20. С. 105]; «я в Одессе! <...> сбылось мое желание; я на Черном море, на два дня расстояния от Царьграда!» [20. С. 135]; «не далеко уж и до Царьграда: эх нас куда занесло!» [20. С. 158]. Впрочем, образ Одессы не лишен в тексте примеси турецкости, что проявлено в остранный репрезентации одесского дома Дюка Ришелье через мотив курения на турецкий манер: «После обеда... подают всем гостям длинные трубки <...>. Я странен казался, отказавшись от этого угощения; а сам видя хозяина и гостей, сидевших на широком диване, подогнув ноги под себя и протянувших до полу длинные чубуки, я... думал, что я в Царьграде» [20. С. 161]. Двойное наименование Стамбул-Царьград встречается лишь в репрезентации пространства исторической памяти Очакова, который, по замечанию нарратора, «Турки называли ...маленьким Царьградом, или Стамбулом» [20. С. 126].

Вообще, фронтирная Новороссия, с одной стороны, маркирована как территория маргинальных беглецов, земля преступлений: «Тут (в Александрии. – С.Ж.) уже считается... до трех сот по названию своему выходцев, а просто по-русски беглых; <...> мы стали встречать довольно одноземцев,

вышедших сюда из Великороссийских областей и на степях поселившихся» [20. С. 99–100]; «Очаков населен всяким сбродом; Греки и Жиды... самые бедные таскаются по городу как бродяги и ищут случая пошильничать для пропитания, одни шинкуют, другие днем крадут» [20. С. 178]. «Сторона <...> вся заселена беглыми и бродягами. В самой Одессе их 20 тысяч слишком душ, <...> откуда взялись, никто не знает» [20. С. 177]; «Он (Херсон. – С.Ж.) населен бродягами, беглыми, всяким сбродом» [20. С. 196]. С другой стороны, как территория переселенцев и колонистов – это пространство большей свободы и потенциалов, проистекающих из-за неосвоенности Новороссии в экономическом и правовом планах: «Тут (в Громоклее. – С.Ж.) поселено 44 выходца, кои именуются Молдаванскими Дворянами; владеют 6-ю тысячами десятин земли, потому что некогда здесь ею не дорожили, а отдавали всякому <...> не платят никакой подати, кроме поземельных денег; скота имеют пропасть» [20. С. 106]; «полезная колония! <...> у них (болгар в Терновках. – С.Ж.) ни одна черта земли не теряется, все засеяно и воспитано» [20. С. 201]; «наехали на Русскую колонию. 500 душ казенных крестьян, бедные землей, переходили из Обоянской округи селиться за Орлик» [20. С. 100]; «Под самым Новомиргородом селились при нас Обоянские крестьяне» [20. С. 206].

Упомянуты также две немецкие колонии в окрестностях Одессы – лютеранская Либен-Таль и католическая, неназванная. Причем, если болгарская колония охарактеризована положительно, то описание немецкого «анклава» амбивалентно. Так, мы встречаем мотивы упорядоченности, чистоты, скромности, умеренного изобилия как типажные черты немецкой идиллии в русской литературе: «стол накрыт... без тщеславного мотовства и непристойной роскоши, но просто, чисто и опрятно» [20. С. 155]; «преизрядный садик», «чистота в домах около очага и самовара, словом везде, совершенная»; «очень хорошего построения мельница, которая работает лошадьми и не знает ни в какое время остановки»; «Кирка небогата, но пристойна» [20. С. 156]. В то же время эта идиллия остранена в ряде фрагментов: например, в описании локуса кирхи, где «на престоле» нарратор видит «зеркала, перед коими высокие горели свечи», и травестирует сакральное пространство церкви, уподобляя его профанному образу ночного столика: «Изрядная выдумка! Убирать престол как нахтыш. Скоро мы увидим на нем и духи и румяна» [20. С. 157]. Травестия затрагивает и мотив набожности немцев, на которых, по ироническому замечанию Долгорукого, влияет жаркое пространство повседневности: «они не столько из набожности туда ходили, как для прохлады: в тамошних местах отрадней было днем во всяком нежилом строении, нежели на дворе и под прямым лучом солнца» [20. С. 157]. Остранение порождено соединением «западного» (германского) и «южного» (новороссийского) топосов, которым также противопоставлено пространство Своего – локуса русской дороги, сгущенного в образе ямщика: «я не мог довольно надивиться окружающим меня предметам. Что может быть страннее, как воображать себя в России и в степи у берегов Черного моря, ездить на почтовых лошадях с иностранной сбруей и упряжкой, слышать разговор Немецкий и Французский на козлах и быть в невозможности изъясниться

по-Русски ни с кучером, ни с форейтором? Это для меня очень было ново и дико после наших плечистых ямщиков» [20. С. 157]. Мотив немецкой езды как проявления чужести, не-русскости¹, негативно заострен и в сцене дорожного происшествия: «Господа Немцы... ездить не мастера: <...> до смерти было переехали нашей коляской бедную девчонку <...>. Суди Бог нашего глупого Эльзасского кучера!» [20. С. 158]. Наконец, Долгорукий «разоблачает» локус немецкой колонии как порожденный публицистикой симулякр идиллии, сталкивая его с образом новороссийской реальности с ее приписками, лихоимством и т.п.: «здесьние колонисты не так счастливы на месте, как в журналах наших и ведомостях, и что многие из них, если бы могли отдать то, что им казна по книгам будто выдала вперед, не остались бы здесь и на день» [20. С. 159].

В Одессе «западный» элемент представлен образами не только французского и австрийского консула [20. С. 163], но и «градоначальника», а также «военного губернатора» Дюка де Ришелье [20. С. 147]. Также следует упомянуть описанный в комплиментарных тонах образ николаевского губернатора Маркиза де Траверсе. Владычество иностранцев в репрезентации Новороссии приобретает острающую огласовку и в образе градоначальника Херсона: «весьма удивительно было услышать, что в Херсоне Городской Голова – Француз, поселившийся здесь более 20 лет тому назад. Чудо!» [20. С. 198]. Итальянскость зафиксирована в образе одесской итальянки Марьи, которая в общественном саду «готовит славное мороженое», «макароны и пуленту Итальянскую», радуя нарратора «Римской сей трапезой» [20. С. 153]. Английскостью маркированы площади в Одессе: «На площадях средняя пасть земли... усажена разными деревьями, вокруг коих... сделаны балясы и ограды: эти насаждения... названы букетами. Мне сказывали, что так водится в Англии» [20. С. 139]. Европейскостью отмечен локус одесского собора: «он, по рисункам судя, уподобляется в малом виде обширным базиликам Европейским» [20. С. 144]. В этом смысле именно Одесса подчеркнута маркирована острающей нерусскостью: «Для всех тех, кои привыкли к Русским городам, всякий иностранный (и Одесса строится... на манер такой же) покажется с виду нехорош» [20. С. 132]; «Россиянин в Одессе... не дома» [20. С. 134].

Вообще, новороссийское пространство в антропном срезе отличается большой пестротой, смешением молдавского, великороссийского, татарского, еврейского, болгарского, турецкого, греческого (как в маргинальном варианте, так и в образе богатых одесских купцов), немецкого элементов, что демонстрирует, например, локус военного училища в Одессе: «Тут есть Молдаване, Крымских Татар и Казачьи дети, без различия Вер и состояния» [20. С. 150]. Только малороссияне редко упоминаются в пространстве Новороссии, в основном как транзитные перевозчики на волах: «Одни волы возят

¹ Оппозиция «немецкая езда – русская езда» характерна для русской литературы и порой возводится в ранг культурных несовместимостей двух идентичностей, как, например, в поэзии П.А. Вяземского [22. С. 13].

шагом всякие тягости, а Хохлы впросонках погоняют их длинными своими лозами» [20. С. 99]; «они (Хохлы. – С.Ж.) перевозили дубовый лес на корабли в Николаев» [20. С. 107]; «печется несчастный Хохол среди Николаевских степей» [20. С. 110]. Мотив смешения, как видим, касается и религиозной сферы, причем не только смешения светского и сакрального начал, как в описании колониетской кирхи, но нахождения в одном топосе православия официального и раскольничьего: «Я ходил посмотреть Раскольничью церковь» [20. С. 104] (в Елисаветграде); «Сверх этого собора город (Николаев. – С.Ж.) имеет... и Раскольничий храм; в новых населенных их охотно терпят: где не было вовсе престола, там и кумир поставить можно» [20. С. 114]; «Раскольники... имеют также свой особый дом молитвы в Одессе» [20. С. 145]. Также сообщено об одесских Церкви Греческой, Католической Римской Церкви и синагоге. Смешение турецкости как отголоска прошлого и русскости в настоящем акцентировано в остранированной репрезентации локуса церкви-мечети в Очакове: «В городе одна церковь, если можно так назвать старую мечеть, наскоро переделанную: это та самая, которую на завтра взятия Очакова Потемкин велел освятить <...>. Хотя и хоры тут сделаны, он более похож на Магометанское разоренное капище, нежели на Восточную церковь. На самой той башенке, на которую хаживал их глашатай кричать “Алла” ныне колокольня, и Пономарь босой ходит в маленький колокольчик сзывать на молитву кучку Православных. Башенка эта почти не переделана: окропили святой водой, и поганый камень освятился» [20. С. 128]. Ср. сходное описание священного локуса в Терновке: «Старая мечеть обращена в Греческую церковь; башни ее, однако, сохранены как памятник, и эти два различные по началу своему здания странное представляют соединение язычества с Православием» [20. С. 202]. Как видим, Долгорукий, которого современный критик обвиняет в «социальном и национальном расизме» [16. С. 83], не стесняется в выражениях. Еще более травестиен пересказанный им исторический анекдот об иконе Григория Армянина в Николаевском соборе, написанной по приказу Потемкина: «он хотел дать изображению его вид Азиатской, и для того списал с одного Турка лицо, которое в одежде Священномученика поставлено в иконостас» [20. С. 113].

Вся неустойчивость, смешение разных элементов обусловлены фронтирностью Новороссии, которая закономерно маркирована мотивом новизны: колонисты «бегут искать нового отечества», «спешат быть на новом месте» [20. С. 100]; «новые грады», «новые языки» [20. С. 111]; «Город (Николаев. – С.Ж.) нов» [20. С. 112]; «Новые люди, пришед на землю нову...» [20. С. 114]; «предприятие новое» [20. С. 139] (о тротуарах в Одессе); «новый край» [20. С. 140] и «новое место» [20. С. 147] (об Одессе); «новый дом божий на новом месте» [20. С. 144]; «прелести нового мира» [20. С. 175]; «сторона новая» [20. С. 177].

Мотив новизны пространства тесно связан с целым рядом иных мотивов. Новизна топосов актуализирует мифопоэтический по своей сути мотив творения: «можно время образования сего края уподобить эпохе сотворения мира, когда Всесильный рек – и быша, повеле – и создашася» [20. С. 114].

В свою очередь, мотив творения связывается с мотивом демиурга-творца, вернее, целого ряда иерархически организованных демиургов. Разумеется, во главе данной иерархии стоит монарх как упорядочиватель Новороссии, прежде всего это Екатерина II, которая «чудотворной рукой» «воздвигла новые грады» [20. С. 111], «много» в Херсоне «хорошего и полезного надумала» [20. С. 198]. Также Собор в Николаеве «отстроен» ее «ижданием» [20. С. 191]. Вторая, уже немирная ипостась мифообраза Екатерины, также связанная с освоением пространства, – роль завоевательницы: «все далее Елисаветграда покорено Екатериной» [20. С. 105]; «покорила себе новые языки» [20. С. 111]; отняла «у Турок Крым» [20. С. 122], повелевала армией «Екатерининых храбрых воев» [20. С. 191]. В качестве создательницы-завоевательницы Новороссии Екатерина переназывает освоенное пространство, что мыслится в мифологической логике как возвращение к античному прошлому топосов. Впрочем, последний акт пространственного «переформатирования» Долгоруким подан поспешным действием, погрешившим против истины: «Екатерина... поспешила многим завоеванным местам дать древние имена, и один городок от нее получил наименование Ольвиополя; но естественные открытия заставляют убеждаться, что Римский город Ольвия не там был, где Таврическая Владычица его нарекла» [20. С. 122–123]; «Екатерина, вообразив там гроб Овидиев, поспешила дать и имя его городу», т.е. Овидиополю [20. С. 158]. Пространство исторической памяти Новороссии в тексте хранит и другой, более «старый» образ монарха-демиурга, зафиксированный в топонимике – в названии Елисаветграда, или Елисаветы: «Под властью быть Елисаветы прекрасней было во сто крат. Когда ее благи советы творили счастье здешних чад» [20. С. 105]. Причем елисаветинский элемент отделен от екатерининского не только темпорально, но и локально: «все далее Елисаветграда покорено Екатериной» [20. С. 105].

Еще ярче, чем екатерининский, в персонифицированной новороссийского пространства выражен образ Потемкина, хотя он и мыслится демиургом второго порядка, получающим свою власть над топосом через Екатерину и повторяющим ее действия в рамках Новороссии: «Когда Екатерина набивала сваи в Петербургские болота и творила каналы, Потемкин на другом краю света нашел девственную природу и в степи насаждал вертограды!» [20. С. 184]; «Много здесь хорошего и полезного надумала Екатерина; <...> Потемкин многое и исполнил хорошо» [20. С. 198]. Но, несмотря на свою локальную ограниченность, в рамках Новороссии демиургичность образа Потемкина доминирует: «Роскошь столько же чудотворна в затеях богатого владыки, как натура в деснице премудрого своего Творца» [20. С. 184]. Мотив демиурга, однако, имеет и травестийную огласовку, поскольку власть Потемкина над материей манифестируется в репрезентации бани в саду: «Он властвовал над самой натурой: вода, поднятая насосами вверх до нарочитой высоты, сбегала к нему под крышку и сквозь потолок, уподобленный ситу, упала в его купальню и орошала его внезапно с головы до ног: какая сладострастная выдумка!» [20. С. 184]. Локус потемкинской купальни включает в себя антично-оргиастический элемент благодаря образу нимф: «Тут

орошался некогда исполин, и никто, кроме нимф, приблизиться к нему не смел» [20. С. 185]. Фривольный смысл одного из садовых локусов (Богоявленского) как места любовной игры¹ зафиксирован в названии Витовка: «Сад при нем назывался Витовкой. В то время, как он убирал его, Госпожа Вит кружила ему голову» [20. С. 186]. Действительно, если воспользоваться ницшевской дихотомией, образ Екатерины в тексте Долгорукого ближе к аполлоническому началу (это своего рода аристотелевский Нус, перводвижитель упорядоченного космоса), а Потемкина – к дионисийскому, земному: «что был Николаев при нем... Царство радостей мирских в России!» [20. С. 184].

Неслучайно наиболее экспрессивные и значительные репрезентация потемкинских локусов в пространстве исторической памяти Новороссии относятся к демиприродным локусам садов-«вертоградов» – находящимся в окрестностях Николаева Спасскому и Богоявленскому, описание которых приближено к сентименталистским образцам изображений облагороженной природы: «Спасское. Ах! какое очаровательное место! Какой божественный уголок в природе! Натура! Где ты взяла свои замыслы и планы, кои образовала на этой благословенной почве земного шара? Над горой, исчерченной садовыми дорожками, усаженной плодоносными деревьями, скрывающей овраги невинные, откуда не хищные выбегают звери, но, как из курильниц огромных, вылетают на воздух благоухания тысячи разных ароматических растений и окуривают вокруг вас весь воздух, над этой горой некогда великой человек, Потемкин, построил залу, пожил в ней и бросил» [20. С. 182]; «В самом Богоявленском прелесть: я туда ездил и не мог довольно налюбоваться этим местом. Я нигде не видал такого соединения вдруг богатства природы, роскоши искусственной... Потемкин любил это место, и разводил тут сады. Всякое растет и дерево, какое только в том климате достать можно около Крыма, все сюда привезено было на подводах и насажено» [20. С. 185]; «Он особенно любил здешнее место: Николаев, Богоявленское, Спасское были его утешение и отрада! <...> он пекся о малейшем украшении своих садов, как часто отвлекался он от своих занятий, чтоб о них подумать» [20. С. 190].

Мотив роскоши устойчиво связан с образом Потемкина и проявлен во множестве «потемкинских» локусов: в николаевской «Церкви во имя Всех Святых» Долгорукий наблюдает малороссийский хор певчих – «остаток старинной роскоши, которую вводил во вкус Потемкин» [20. С. 118]; в «прекрасном саду» под Николаевом Потемкин «давал роскошные праздники»

¹ В репрезентации сада Богоявленского смешаны реально-историческое и мифопоэтическое (как языческое, так и христианское) начала, что зафиксировано эксплицитно самим Долгоруким в образе «рая земного» и травестировано образом мертвой змеи, на которую здесь наступает нарратор, что провоцирует балансирование описания на грани божественного и профанного, метафорического и буквального смыслов: «прекрасен сад, но змея нехороша» [20. С. 189].

[20. С. 119]; «роскошь» «чудотворная» [20. С. 184]; «роскошь искусственная» Богоявленского как «памятника роскоши» [20. С. 185]; «Витовка! <...> вельможа сыпал в тебя все свои сокровища!» [20. С. 189]. Еще один «потемкинский» мотив – это масштабность замыслов «демиурга»-«исполина» и их пространственных воплощений в Николаеве, который в темпоральном слое прошлого маркирован также потенцией столичности и состоит в сложных связях притяжения-отталкивания с образами Москвы и Петербурга¹: «вид» николаевского Адмиралтейства «ответствует колоссальным намерениям того, который кинул первые основания Николаева: известно, что его заложил Потемкин» [20. С. 113]; «Собор каменный строен при Потемкине и его иждивением <...> огромностью своей важен» [20. С. 113–114]; «Поживи Потемкин, и Николаев стал бы шире Москвы: от города до Богоявленского считается 12 верст, а все это пространство было уже разбито на кварталы. Дорога лежит по берегам Буга, подобно Петергофской» [20. С. 185]. Именно Николаев описан Долгоруким как локус, где проявляются «величество» Потемкина [20. С. 201] («места славы знаменитого вельможи» [20. С. 201]) и его, по сути, «демиургически-божественный» статус: «Таврический! Тебе в твой век дивился Питер: Но в нем ты был лишь Князь, а здесь ты был Юпитер» [20. С. 201].

С демиургическим и в то же время трикстерным статусом потемкинского образа связан, наконец, мотив его экстраординарности, выхода за рамки человеческих норм, что проявляется в его странных поступках, как, например, выбора турка в качестве натурщика для изображения христианского святого: «он рожден был для всего необыкновенного» [20. С. 113]. Травестийность проявлена и в иной ипостаси Потемкина – военной, которую мы отмечали в образе Екатерины. С одной стороны, мы имеем дело с возвышенным изображением «знаменитого вождя Екатерининных храбрых воев» в сублокусе могилы херсонского собора с надписью «Спасителю рода человеческого Екатерина II посвящает» [20. С. 191]. С другой стороны, в пространстве исторической памяти Очакова, который «брал и Потемкин» [20. С. 125], образ последнего вписан в травестийную сцену смешения смертности и эротизма, где пространство смерти становится местом встречи князя с любовницами: «Здесь наши знатные дамы, в награду сладострастному победоносцу, возили на санях свои прелести, переезжали костры мертвых тел и в богатых землянках, средь роскоши и неги, забывали в объятиях Потемкина все ужасы военного ополчения, меж тем как утомленные воины жгли дома, грабили мужей, насиловали жен и нещадно рубили богатые вертограды» [20.

¹ Вообще, топосы Новороссии и Малороссии в тексте Долгорукого проявляют черты изоморфизма по отношению к образам Москвы и Петербурга, что неудивительно, если принять в расчет привязанность автора к Своему, с которым сравнивается Чужое-«полуденное». Вспомним параллельные строительство Петербурга Екатериной и устройство николаевских вертоградов Потемкиным. Это могут быть и такие экзотические варианты смешения Своего и Чужого как Очаков – «маленький Царьграда». Ср. также с образом аналогичной потемкинской деятельности Князя Куракина в Малороссии, который «весьма старался сделать из Полтавы в малом виде Петербург» [20. С. 67].

С. 126–127]. Здесь мы встречаем целый ряд травестийных деталей, от оксюморонного образа «богатой землянки», порожденного закрепленными за Потемкиным мотивами «роскоши и неги», любовных походов, до изображения ужасов войны в ее неприглядности вплоть до попиранья костей убитых. Отметим также, что демиург николаевских садов в батальном локусе косвенно возглавляет разрушение «вертоградов» противника.

Вскользь в травелогe упомянут демиург «третьего порядка», подчиненный уже Потемкину, Фалеев, в связи с описанием сублокуса его могилы в Николаевском соборе: «близ стен церковных воздвигнут памятник из белого камня над известным и громким в свое время Фалеевым, который приводил все здесь в движение по мановению Князя Таврического» [20. С. 114]. Подробней развернут образ другого николаевского «демиурга» – маркиза де Траверсе, который, в частности, связан с заботой о локусах Адмиралтейства («Все это заводил, ободрял и поддерживал, Маркиз де Траверсе» [20. С. 117]), потемкинского сада Спасского («Здесь некогда Потемкин жила <...>; от времени его осталась большая галерея и дом, которые бы пришли уже в совершенную ветхость, если бы не обитал в ней по летам Маркиз де Траверсе. <...> сад пострадал от небрежения. Маркиз... посадил все деревья и сделал его опять прекраснейшим для прогулки» [20. С. 119]). Траверсе тем самым становится продолжателем дела «демиурга» Потемкина и сам получает статус *genius'а loci*: «Маркиз де Траверсе, полубог Николаева, давал тут (в Спасском. – С.Ж.) балы и приохочивал публику к прогулкам» [20. С. 182]. Не связан с образом Потемкина лишь образ «демиурга» Дюка де Ришелье, благодетеля Одессы: «Новое место сие обязано его попечением всей своей настоящей славой. Он... на все усилия... готов для возведения Одессы на ту степень славы, какого от местоположения своего она ожидать может» [20. С. 147]; «виды Градоначальника <...> совершенно устремлены на украшение Одессы, утверждение ее пользы и расширение ее выгод» [20. С. 148]; «очень любит тамошний край, и особливо Одессу, которая слывет его балованным дитятей» [20. С. 160]; «Одесса обязана своему Начальнику многими полезными и увеселительными заведениями» [20. С. 150]. При этом в образе Дюка также присутствует связь с локусами садов, которым он покровительствует, способствуя преобразованию степного дикого пространства в культурное: «всякое дерево в степи – сокровище. Дюк ни за что так не сердится, как за изломанное или испорченное дерево» [20. С. 139]. Кроме того, генерал-губернатор создает собственный сад, куда открыт проход горожанам: «тут сад его разросся и очень густ: он его сам разводил. Все деревья посажены только 9-ть лет тому назад, но они дают уже изрядную тень. <...> Сад Дюка есть совершенный образец того, что могут постоянные и пристрастные труды в степи; да и в самом палящем климате, по крайней мере в России <...> Дюк такой насадил вертоград, какого и в самых удобных для того местах не увидишь.» [20. С. 154]. Ришелье изображен и покровителем одесской торговли (вообще предпочитает купеческое общество).

Возвращаясь к мотиву новизны, отметим, что с ним в тексте Долгорукого связан мотив волшебного/быстрого роста городов: «край волшебный, приятный, непостижимый в скорости своего созидания» [20. С. 174]; «Город (Николаев. – С.Ж.) нов, вырос, так сказать, из земли» [20. С. 174]. Скорость создания особенно подчеркнута в образе Одессы: «тут была прежде у Турок неважная крепостца, называемая Гаджи-бей: теперь вы тут насчитаете домов до 200 каменных, все это воздвиглось лет в 15: как не подивиться действию столь скорому и удачному деятельной торговли!» [20. С. 136]. Торговый характер города, делающий застройку весьма выгодной, способствует его росту, т.е. под волшебство подводится автором весьма рациональное экономическое обоснование: «Дом в 20 тыс. построенный, очень скоро приносит с найма до 4000 доходу» [20. С. 141]. Соответственно, Одесса выступает как город больших барышей, которым способствует локус Учетной Конторы, «место самое благотворительное», дающее займы: «Заняв... капитал, вы ставите дом и отдаете его тотчас в наймы. Доход с него в несколько лет выплачивает долг ваш, и вы вдруг, приехавши в Одесу без денег <...>, делаетесь лет через пять гражданином тутошним, имеете дом и получаете с него доход» [20. С. 148]. Мотив быстрого роста связан также с мотивом конкуренции новороссийских городов друг с другом: «Одесса похитила его (Николаева. – С.Ж.) добычи; так точно и Николаев вселил в забвение Херсон» [20. С. 114].

Новизна Новороссии также означает достаточно высокую степень ее энтропийности, т.е. подразумевает наличие хаотического начала, подлежащего упорядочиванию. Это прежде всего относится к природному топосу степи, противопоставленному антропному пространству и выраженному мотивами дикости, масштабности¹, безводности, безлесности, безлюдности, пустоты, жары: «Отсюда (от Кременчуга до Елисаветграда. – С.Ж.) мы начали странствовать по настоящим и пространым степям: ни полей, ни кустов; страшной величины дачи, ничем не населенные, не восприявшие никаких семян. Продолжительные жары даже всю траву на них посушили. Верст по 30-ти проезжали, не встречая ни малейшего жила. Воды мало, да и та по большей части нехорошая» [20. С. 99]; «берега Ингульские, орошаемые самой нечистой водой» [20. С. 105]; «По всей дороге до Николаева <...> вы ничего не видите, кроме дикой степи, никакого растения: один ковыль, как волна вьется по земле. Жар и зной палит ужасный: здесь тепла нет: или духота, или такой холод... что шубы просим; переход из воздуха в другой быстр и опасен для неосторожных» [20. С. 105]; «От Николаева та же простирается степь пустая и пространная <...> место степное, дикое, безлесное» [20. С. 122]; «выедешь из Одессы – опять степь: ни лесу, ни воды» [20. С. 155]; «На пути нет никакого жила, кроме почтового сарая» [20.

¹ Масштабность Новороссии подается несоразмерной антропности, подавляющей человека и в эпизоде скитаний церковнослужителей: «Бедные люди! Здесь есть места, за 1000 верст от Владыки отстоящие, и Дьячок должен пройти весь Крым до Екатеринославля, чтоб получить право, воротясь домой, надеть изорванный стихарь» [20. С. 204].

С. 194]. Вследствие семиотической пустоты это пространство отмечено также скукой: «Все наводит скуку и тоску» [20. С. 99].

К вышеназванным характеристикам степного локуса в варианте николаевской степи добавляется мотив ужаса («Николаевская ужасная степь» [20. С. 105]), который заострен в сцене ночлега, травестирующей в то же время «книжную» традицию готического романа с его эстетикой ужасного и лунарной образностью: «Никогда... Громоклеи я не забуду. Вы, которые так восхищаетесь луной и ее светом, любите читать страшные новейшие повести Г-жи Радклиф! Хотите ли познать ужасы месячной ночи? <...> велите привезти себя туда, <...> лягте... и поверьте, что нет ничего тошнее, как ударение месячных лучей, когда все, нас окружающее, пусто, уныло и бесплодно! О! как месяц тогда противен!» [20. С. 108]. Эта лунарность связана с мотивом не ночной романтики, а мук бессонницы («Беспокойные мечты тут меня замучили; сон бежал от очей моих») и усиливает визуальную непривлекательность и пустоту освещаемого пространства ночной степи, отличной от нарративов рококо или сентиментализма («что сии бледные лучи озаряли? Увы! не излучины Английского сада, не тихий ручеек в долинах сладострастных, не боскет, где любовь ищет любви и умирает в восторгах. О! нет, месяц освещал степь дикую и пространную, горизонт пустоты бесконечной: небо и сухая земля!»), а также порождает особый ониризм смешения земного (дикой степи) и водного (антиантропного, маркируемого ужасом океана) пространств: «Седой ковыль, повеваемый зефиром, покрывает всю степь и уподобляется океану, тот же ужас в чувствах, что и на воде» [20. С. 108]. Мотив страдания связан в тексте и с дневной ипостасью степного топоса в образе огненной стихии – «яркого огня, под которым печется несчастный Хохол среди Николаевских степей» [20. С. 110]. Николаевская степь отмечена мотивом безвременья, смешения темпоральных границ, травестирующий также положительные образы сентименталистского естественного человека и адамического (райского) состояния: «Натуральный, нами с восторгом выхваляемый, человек не знает ни будних, ни праздников; в степи Вторник и Воскресенье все равно. Он работает, преет, в поте лица ест хлеб свой, не видит ничего выше неба; словом, он живой образец Адама, изгнанного из рая и осужденного на рабство, бесконечный труд и смерть. Восхищайтесь таким бытием, господа энтузиасты!» [20. С. 109].

Мотив пустоты одесской степи усилен мотивом разрушительной войны: «здесь... обитали везде Турки... война старое все истребила, а мир непродолжительный ничего нового устроить не допустил» [20. С. 122]. Кроме того, мотив новороссийской степной пустоты травестийно связывается с пространством пустыни как аскезы: «лоскуток степи до Буга <...>. Кроме бедного хутора никакого жила; не допросишься ни яиц, ни молока, нет ничего: убожество пустынное! Вот бы где хорошо жить монахам!» [20. С. 178]. Впрочем, в пустоте степи отмечен и положительный момент – отсутствие нищих как вариант безлюдности: «Мне полюбилося по всей этой степной дороге то, что не встречали на распутьях, так как у нас водится, кучи нищих <...> или в степи странствовать не так способно, или их прибирают» [20.

С. 130]. Мотив смертности и одновременно неустроенности топоса выражен в образе падали на дорогах, «которая очень часто заражает весь воздух: что может быть несноснее, наипаче в зной! Припишем и это тому же неудобству, т.е. пространству голых земель: <...> надобно члену Земской Полиции сведать и приехать на место, а он нередко во ста верстах, и селения вокруг его нет никакого» [20. С. 130].

Мотив беслесности степи также весьма важен в пространстве Новороссии, автор возвращается к нему неоднократно при описаниях локусов как садов, где посадка деревьев есть вариант упорядочивание пространства («всякое дерево в степи – сокровище» [20. С. 139]; «Сад Дюка есть совершенный образец того, что могут постоянные и пристрастные труды в степи» [20. С. 154]; под Николаевом «церковь... обсажена ветлами. Здесь и это дерево в диковинку: никакого нет!» [20. С. 109]), так и домов. Последние строятся либо из камня, например, в Одессе, маркируемой каменностью¹ («Одесса вся выстроена камнем. <...> Ни одного строения деревянного в целом городе» [20. С. 136]), либо из глины и навоза, что нарратор отмечает как характерную деталь, отмечающую, начиная с полтавских окрестностей, границу степей: «такой край, где природа вовсе не дает дров», «Жители отапливают хаты свои кизяком: так называется засушенный скотский сор. <...> Тем же навозом обмазывают и стены в некоторых домах пополам с глиной» [20. С. 61]. Для пространства Новороссии же образ кизяка, хотя и не используется в контексте строительного материала, часто упоминается в качестве средства отопления и приготовления пищи, что сообщает негативный ольфакторный (и вкусовой) маркер описанию топосов: у молдаван в Громоклее, несмотря на богатство («пропасть скота») «дров ни полена, топят кизяком, которого навалены у них стопы, как у нас скирды с хлебом» [20. С. 106–107]; «Не найдя (на станции под Одессой. – С.Ж.) дров ни полена, ни битых колес, ни изрубленных перил, повар наш стряпал на кизяке, к которому мы не привыкли; и так ничего душа не принимала» [20. С. 132]; «ни полена дров, топи кизяком, от которого воняет» [20. С. 165]. В одесском пространстве образ кизяка подвергается также остранению как признак богатства: «Дров почти нет; <...> почти все жгут на кухне кизяк, и тот почитается зажиточным хозяином, у кого его много» [20. С. 142]. Тот же остраненный образ кизяка встречаем и в описании усадьбы в Анчекраге: «Кизяку... наставлено пропасть. Странно видеть Русскому человеку такие огромные кучи... навоза» [20. С. 177]. Ср. с образом кизяка как маркера обратного перехода от

¹ Каменностью отмечены и Судакля (Сугокля) («Отсюда стали мы примечать большие камни, белые и дикие <...> из самых мелких строятся низенькие горенки» [20. С. 106]), и окрестности Одессы, причем эти домашние локусы отмечены амбивалентностью – внешней привлекательностью, напоминающей о дворянской усадьбе, при внутреннем неуют: «Обыватели живут в каменных избах <...> избы выкладываются из дикого камня, который <...> дает стену неровную, похожую на то, что искусственно делается в богатых садах для изображения руин <...>. Наружные фасады все представляют вид изрядный, но внутри страшная нечистота и неопрятность отвратительная» [20. С. 129–130].

Новороссии к Малороссии в топосе Новомиргорода: «здесь уже топят дровами: мы помаленьку расстаемся с кизяком» [20. С. 208].

Аналогично с постепенным удалением от Новороссии – от Елисаветграда до Новомиргорода – меняется и образ пустой и визуально непривлекательной степи («Степь продолжается, но не так уже гола; появились приятные виды; показался местами кустарник; везде золотые нивы радуют взор путешественника»); возникает и маркер русскости как Своего: «Я с удовольствием любовался на сарафан нашего покроя, какого уже давно не видал» [20. С. 206]. Тот же Елисаветград маркирован мотивом южного изобилия, пусть и в остранинной форме, где владимирские вишни, относящиеся к условному Северу, оцениваются нарратором выше, чем елисаветградские. Южное изобилие же проявлено в образе арбузов и шелковицы: «Хотите ли есть славные вишни? Поезжайте во Владимир: <...> в Елисавете пусть потчивают арбузами, шелковицею. Здешний край славится быть плодовитым, потому что приближен к полудню» [20. С. 102]; «Таких арбузов в целом свете, как здесь... не едят» [20. С. 102]. Кстати, локус бахчи как типично «полуденный», противопоставленный «северному» локусу оранжереи, актуализирован в травелогe Долгорукого с момента попадания нарратора в малороссийское пространство Юга: «Наконец въехали мы в пределы Украйны <...> Увидели мы образчики плодородного климата: на воздухе родятся арбузы без всякого садовнического присмотра; для них отведены изрядные места, и их зовут бакши. <...> У нас арбуз закутан в оранжерее; <...> тут, напротив, ничто его не заслоняет и не прячет» [20. С. 106]. Образ арбуза как маркер южного изобилия встречаем в характеристике Николаева: «Арбузов и дынь в Николаеве пропасть и дешевы» [20. С. 199]. Вспомним также описание роскошных николаевских садов в тексте. Потенциальной плодородностью особо отмечены окрестности и Одессы: «натура вокруг нее все дала изобретательному человеку: почва плодоносная, природа ни у кого не остается в долгу; был бы труд и семя для посеяний. Хозяин самого небольшого хутора может величайший приобрести доход земляной работой. Солнце греет, роса живит, море прохлаждает» [20. С. 164]. Кстати, оппозиция «южный сад – северная оранжерея» проходит через весь «украинский» фрагмент травелога: «Она (долина около Валок... (Малороссия). – С.Ж.) ...убрана плодовитыми деревьями; оранжереи наших вельмож не дадут им такого благовония, каким от сих дерев накурен в окрестности здешней весь воздух» [20. С. 57]; «Оранжерей (в Одессе (Новороссия). – С.Ж.) ни у кого нет: всякий ждет плодов от природы на вольном воздухе и получает их не очень много ранее наших садов, а всегда позже северных оранжерей» [20. С. 142]; «Не нужны здесь (в Одессе. – С.Ж.) садовники, ни теплицы, ни парники: на вольном воздухе всякой плод спеет, позже искусственного <...> но <...> плоды свободные гораздо вкуснее принужденных... Оранжереи наши в столицах ясно то доказывают» [20. С. 164]. Таким образом, пустое степное пространство пусто именно в силу своей малой антропной освоенности и маркировано потенциями развития, что мы видим, например, в ремарке

Долгорукого о несходстве «жнитва и сенокоса» в «коренной» России и Новороссии: «Оба сии упражнения, которые в наших местах уподобляются... торжеству, здесь не тот вид совсем имеют: пространство дач и малочисленность народа тому причиной» [20. С. 130].

Антропные (в том числе демиприродные) локусы составляют «анклавы» упорядоченности в преобразуемом ургией энтропийном пространстве степи, что, например, зафиксировано в репрезентации Николаева: «после такой продолжительной степной дороги, увидевши Буг и город на нем, закричит: «Слана Богу! Есть еще для меня и жизнь и люди!» <...> я уж в Николаеве, там, где не было ничего, кроме продолжения степи» [20. С. 110–111]. Степень данной упорядоченности локусов, однако, варьируется. В этом смысле в наибольшей степени «антистепью» выступают образы садов, помещенных, в том числе, в контекст парадиса или идиллии: вышеупомянутые Спасское и Богоявленское в Николаеве, одесские сады (включая общественный, где «стройный рост» и «вид» деревьев «восхищает» [20. С. 153], и сад «здешнего Коменданта», «один из редких в России качеством дерев и вкусом плода. Все превосходное там» [20. С. 153]), а также сад Дюка и «презрядный садик» [20. С. 156] головы немецкой колонии под Одессой. В этих случаях степень антропности высока, но она может быть и минимальна, как в описании источника в Кандыбине: «Родник обнесен низкой оградой из тутошнего камня и представляет прохладную ванну. Верхний холм оттеняет ее от зноя; от него проведен желоб, где пасущие овец и коней обыватели напоят свой домашний скот. Какое романическое место!» [20. С. 108]. Соответственно, естественность новороссийского локуса выше, чем пространство столичной усадьбы с ее облагороженной природой, порождая оппозицию «московское (Свое) – новороссийское (Чужое)»: «Если б этот клочок земли с водою вырезать и отнести к богатому барину в Москву, который его бы убрал, обогатил, отделил, то бы вышла заманчивая прогулка, сокровище! Но здесь натура одной... цели... искала – пользы» [20. С. 109–110]. Именно в голой функциональности, необлагороженности Новороссия уступает не только Москве, но и ряду топосов Малороссии, например саду Софиевки под Уманью. Ср. также с проявлением сентименталистского мотива облагороженной природы как визуальности, вызывающей экстатическое наслаждение у созерцателя, в характеристике Спасского, противопоставленного крымскому пространству и стимулирующего авторский ониризм: «Здесь не Крымские одни прелести природы... здесь... среди неописанных красот той же природы люди, мир, забавы, нега, роскошь и, вместе с тем, весь вид дикого уединения и шумной водопад <...>. Вот, где можно писать романы, пылать страстью и дать ее почувствовать другому!» [20. С. 183–184].

Даже идиллические сады Спасского и Богоявленского не являются ахронными локусами порядка, но подвержены влиянию внешней энтропии. Отсюда лейтмотивы забвения, преходящести земной славы, нереализованных потенций и непостоянства, весьма важные в репрезентации Новороссии, где нет ничего абсолютно устойчивого: «Сверх... непрочного состояния хлебопашца, погода имеет свои непостоянства: засухи часто лишают

вовсе жатвы; пожары истребляют в степях сенокосы. Всякий помещик подвержен большим потерям в замену больших иногда барышей» [20. С. 177]. Вспомним также ремарку, что Одесса затмила Николаев, который, в свою очередь, «вселил в забвение Херсон» [20. С. 114]. Мотив забвения и нереализованных потенциалов актуализирован в различных новороссийских локусах, связанных, в том числе, с образом Потемкина: «Чего здесь не построили, не развели, не посадили, чтоб после бросить и показать образчики начатого, но несовершенного, великолепия!» [20. С. 114]; «Предполагали основать здесь Морской Корпус; но проект <...> не состоялся» [20. С. 116]; «все имеет свое время; вельможа (Потемкин. – С.Ж.) умер и многие прелести здешнего края исчезли» [20. С. 119]; «по особенному к нему прилеплению Князьему предполагали здесь (в Спасском. – С.Ж.) поставить монастырь <...>. Но умер Князь, и замыслы его с ним похоронились» [20. С. 119–120]; «руина», «развалившаяся хижина» (о потемкинской бане); «Вельможа умер, и все исчезло!» [20. С. 185]. Еще ярче мотив разрушения/забвения проявлен в топосе Богоявленского, где нарратор отмечает соединение «богатства природы, роскоши искусственной и нищеты»: к состоянию дикости, т.е. «натуры», сад возвращается, проникаясь энтропией во временной динамике («все принялось и пустилось, а после все поросло тростником и облеклось в пустыню. Тут уже не сад теперь пышный и пространный, а дичь одна необработанной природы» [20. С. 185]; «разрушение» «драгоценных прелестей» [20. С. 188]). Соответственно, выстроен изоморфизм локуса и антропности, ведь дикий сад являет собой напоминание «о бренности жизни, ветшании, невечности, смерти и беспорядке ее» [23. С. 301–302]. В тексте Долгорукого этот локус порождает комплекс переживаний нарратора, обусловленный оксюморонным (остраняющим) соединением витального и мортального элемента, где первый проявлен в подчеркнуто южных и изобильных, циклично-природных, и потому ахронных вегетативных образах продолжающего плодоносить сада («тут отягченные ветки абрикосами, бергамотами <...> Высокий куст Грецких орехов царствует над прочими плодами; с ним сблизилa природа и каштановое дерево»), а второй – в образе антропной конечности, смерти души сада, т.е. Потемкина как *genius loci*: «Я сидел на самой той скамейке, на которой Потемкин сматривал рано по утру, <...> как все шевелится для прихоти его <...> Натура <...> все та же, но снят с нее наряд; душа сих мест удалилась в другие селения: все мертво было около меня» [20. С. 186]. Вытеснение антропности из природного пространства актуализировано и в репрезентации сублокуса садовых каналов: «сухие рвы и болотистые тинные места, где я никак не поверил бы, что были когда-либо токи свежей воды <...> тут прорыты были везде каналы <...> Князь разъезжал на них в раззолоченных лодочках. Гребцы пели, кричали, весла отражали лучи яркого дневного светила; вода сливала с них крупные свои перлы, а Князь не вмещал своих восторгов. Везде тут ныне ил, камыш и на каждом шагу увязнешь. Вместо торжественных песен и кликов народных, один слышен крик неугомонных лягушек. Ах, что печальней сей картины!» [20. С. 187]. Путешествие по пространству потемкинского прошлого Новороссии также

заводит Долгорукого в Херсон – к княжеской могиле («Наслушавшись здесь от всех очень много о Потемкине, я пожелал видеть гроб его, и для этого только съездил в Херсон» [20. С. 191]), где, с одной стороны, память о Потемкине хранит вышеупомянутая надпись в соборе, а с другой – сам локус могилы оказывается скрыт от наземного мира, погружен в хтоническую энтропийность: «все засыпано землею. Нет уже ныне туда ни входа, ни отверстия. Я любопытствовал узнать хотя снаружи то место, под коим он погребен был: не хотели или не умели мне и того причетники указать» [20. С. 191]. Мотив забвения соотнесен и с образом Екатерины II¹, актуализированный в остранинной репрезентации пространства недостроенной церкви в Одессе: «Другая церковь в городе предполагалась... во имя. Св. Екатерины, но что же? Заложена, застроена до половины и брошена. <...> О, как времена, да и в какой короткий срок, все истребляют!» [20. С. 119]. Локус недостроенной церкви отмечен вторжением энтропии: «Ныне вы тут найдете недостроенные стены открытого со всех сторон храма, которые разрушает и ветер тлетворный, и морские непогоды, и пуще еще пренебрежение человеков. <...> Вокруг него всюду настроены казармы: там живут солдаты; жены их ходят выливать в развалины храма всю домашнюю нечистоту; словом, воспетая и молитвословием прославленная скиния обратилась в место пустое и омерзительное» [20. С. 144–145].

«Антистепью» в репрезентации Новороссии выступает и ряд усадебных локусов. Так, Долгорукий маркирует локус недостроенного еще Ильинского, «имения Графа Безбородько» [20. С. 121] упорядоченностью, противопоставленной пустоте энтропийной степи: «мы и тому подивиться должны, что нашли уже селение Русское, Христианской храм, хаты, обитателей и господский флигель» [20. С. 122], т.е. Новороссия – это пространство в становлении. Упорядочивающей ургией маркированы и усадьбы возле Николаева: «Самые малые усадьбы там разрабатываются с большим тщанием, и на сады в этой стороне залюбуется всякой путешественник» [20. С. 182]. Смешением энтропийных и упорядоченных черт отмечено описание имение офицерской вдовы в Анчекраге, где, с одной стороны, хозяйство неустойчиво («купила тут 130 душ, счетом, а нашла только 30; на работу выходит 15»), а с другой – есть маркер цивилизованной (нестепной) жизни: «в степи слышать фортепиано необыкновенно» [20. С. 177]. Остраняющее совмещение в локусе степных и «антистепных» признаков подчеркнуто и в изображении хутора госпожи Лареновой, актуализирующем мотив волшебства: «мне так было странно, что я думал быть в области какой-нибудь феи. В степи находить книги, музыку, некоторую роскошь не только

¹ Однако образ Екатерины в топосе Херсона маркирован мотивом незабвенности: «Память Херсонской Царицы здесь незабвенна; целы еще стены того строения, в котором некогда она ужинать изволила» [20. С. 198]. Ср. также с актуализацией мотива незабвенности в пространстве Елисаветграда в связи с образом Елизаветы: «О град, Царице соименный! <...> званию будешь, незабвенный в сердцах Российских всех сынов!» [20. С. 105].

просвещенных, но уже и испорченных от излишних наслаждений городов, все это меня очень удивляло» [20. С. 203].

Образы мелких городов и поселений в степной Новороссии в основном отмечены (семиотической) пустотой и слабо выраженной антропностью как проявлениями энтропийности. Это ничем не примечательный за исключением «Комиссариатской экспедиции» «уездный городок Херсонской губернии, Крюков» («Мы его проскакали, и я о нем ничего не скажу, кроме того, что с виду он не обращает никакого на себя внимания»); населенная «из гусар Александрийского полка» Александрия, «уездный городок, ничего не значащий» [20. С. 99]; «селение небольшое» Судакля [20. С. 105]; «селение Громокля» («название громкое, а жилища никакого» [20. С. 106]. Чуть лучше семиотизировано пространство Миргорода, лиминального топоса как в прошлом («Здесь некогда была граница наша к Польше и живали иностранные Консулы, цвела торговля» [20. С. 207]), так и в настоящем («Город этот принадлежит к Херсонской Губернии; от него в версте местечко Златополье в Киевской уже Губернии» [20. С. 208]), даже имевшего в пространстве исторической памяти статус «столичного»: «поставлен был здесь же престол Вознесенской Губернии» [20. С. 207]. Но современность города маркирована у Долгорукого энтропийными мотивами непривлекательности, маломасштабности, забвения: «Город неважный; домов хороших деревянных в нем очень мало, все мазанки. Он заштатный и без уезда <...> теперь весь составлен из развалин» [20. С. 207]. Несмотря на громкое название, теми же провинциальностью, малозначимостью отмечен Елисаветград: «Город... ничего очень любопытного не содержит, и хорошим его назвать нельзя; довольно, что он носит громкое имя» [20. С. 105]; «старая обвалившаяся земляная крепостца, не заслуживающая примечания» [20. С. 104]. Но в его репрезентации есть несколько положительных черт: отмеченное выше изобилие даров природы, привлекательность «храма пространного и хорошего» со «старинным письмом» [20. С. 205] и «каменного острога» с «очень хорошей» «внешней архитектурой», образ которого оксюморонно остранин: «если, говоря о тюрьме, можно назвать что-нибудь хорошим: каково-то в ней!» [20. С. 104]. Еще один остранин городской топос представляет Ольвия, изображенная в двух ипостасях: античной и современной автору, расположенной в пространстве «дач» графа Безбородько и обязанной своим возникновением первой: здесь из «рытвин» «беспрестанно извлекаются разные древности»; «Место, где сделаны ямы для сих изысканий, как будто городок» [20. С. 123]. Травестия достигается акцентированием маргинальности римской Ольвии, противопоставленной «высокой» стороне образа античности: «Ольвия... был город ссылкой; <...> скольких злодеев мы доискиваемся остатков и, обрадовавшись, когда попадется нам урна с их пеплом, за редкость ее почитаем» [20. С. 123].

Выше, в связи с образами Потемкина и очаковской церкви-мечети, мы отмечали травестизацию пространства исторической памяти города, образ которого, однако, амбивалентен. С одной стороны, батальность Очакова оценена негативно как выражение неприятия автором войны, выраженное в остранин сцене нефеломании, где небесное начало противопоставлено

контекстуально ничтожному земному пространству: «помещу здесь странность. <...> Среди глубоких моих размышлений об Очаковском штурме, войне и ее последствиях взглянул я вдруг на небо и увидел <...> облако. <...> Наковальню, совершенно сходную с кузнечными: стройное согласие идей с воздушными явлениями! <...> была здесь в то время наковальня. Сколько пролили крови, а за что? За лоскуток песчаного берега при мутной воде» [20. С. 123]. Будучи в прошлом топосом войны, современный Очаков для Долгорукого не становится пространством мира, консервируя в себе батальную энтропийность и смертность: «город разоренный; донныне видны в нем еще следы Российской рати: хуже деревни, везде обломки бывших строений, каменные груды. Часто попадаются под ноги сухие кости человеческие <...>. Ни одного не найдете сучка тех прекрасных садов, которые вокруг Очакова разведены были на несколько верст: сабли все порубили» [20. С. 125]; «Теперь нет ничего в Очакове, кроме самой истинной картины опустошения» [20. С. 127]. Травестизация актуализирована в образах квартиры нарратора, уподобленной проданной за долги развалине, т.е. антидому («Опальный домишко, хуже стократно тех, кои... описываются ... за долги и, за неявкой желающих, стоят лет по 10 без крыш и починки; и тут окна выбиты, рамы трясутся. <...> он не хуже был час спустя после приступа» [20. С. 127–128]), а также каменных ядер, в описании которых смешаны батальная и глуттоническая сферы: Турки ими «потчевали наши медные лбы» [20. С. 125].

С другой стороны, батальное пространство Очакова имеет и «высокое» измерение, отмеченное мотивами славы, бесстрашия («Знаменитое место в нашей истории! <...> стена ее (турецкой крепости. – С.Ж.) свидетельствует донныне храбрость полков и полководца») и описанное с пафосом («Орлу судило небо смирить гордую Луну» [20. С. 125]). Помимо амбивалентного образа Потемкина, в персонифицированную Очакова входят образы Миниха («Брал его Миних, брал и Потемкин» [20. С. 125]), а также павших здесь генералов Волконского и Горича. Причем образы последних связаны с характерным батальным ониризмом – переносом нарратора в пространство войны, выраженным, впрочем, слабей, чем у того же Сумарокова: «сел на пушку и дал волю всем своим мечтам. Здесь тени Волконского и Горича встречали мысль мою и напоминали гибельное событие Очаковского штурма; я воображал, что я вижу тот путь, те самые ворота, где их последний рок постиг от руки врага, не умеющего щадить жертв своих» [20. С. 126]. Наконец, в связи с топосом Кинбурнской косы обозначен образ Суворова, напрямую по имени не названного: «я вечную намять проворчал тому непобедимому витязю нашего края, который прославил себя на этой косе и своей тут победой отворил, можно сказать, путь к Очакову и ко всем счастливым подвигам нашего войска, умножившим его славу в Европе» [20. С. 127–128].

Неоднозначна характеристика и новороссийской триады крупных городов – Николаева, Одессы, Херсона. Наиболее негативно описан последний из них, маркированный мотивами непривлекательности, грязи («Херсон ме-

сто не прекрасное»; «Город <...> очень неприятен: улицы нечисты, строение скверное, ни одного нет хорошего дома, кроме <...> обжорного ряда»), скуки («скука, которую... никто... скрыть не может» [20. С. 195], «скучный Херсон» [20. С. 197]), антропной маргинальностью («Он населен бродягами, беглыми, всяким сбродом» [20. С. 196], «Народ (на канатной фабрике. – С.Ж.) употребляется ссылочный <...> всякого черты ужасны; печать злодейства отражает всякое сострадание» [20. С. 197]), в том числе травестирированной («здесь пропасть Жидов и Комаров – либо первого увидишь, либо последнего убьешь» [21. С. 195]), разрушения («Крепость, хотя еще не стара, однако требует уже значительных поправок и только что поддерживается от совершенного разрушения» [20. С. 196]), т.е. признаками энтропии. Положительно охарактеризованы локусы, связанные либо с торговлей – обжорный ряд, гавань («Гавань купеческая очень хороша: в ней строится много транспортных судов по самым прекрасным образцам. <...> Торговля животворит совершенно берега Днепровы» [20. С. 197]), – либо с пространством исторической памяти: дом, где принимали Екатерину, и собор, «великолепный и огромный храм» [20. С. 196], упоминаемый выше в связи с сублокусом могилы Потемкина. Это пространство включает в себя и иные могильные сублокусы, маркированные мотивом военной славы: «Сколько знаменитых гробниц около Собора! Тут увидите вы храброго Миллера. Я остановился у его мавзолея: шишак над ним столько же чист еще поныне, как и слава его. <...> Там подальше был его сын, достойный такого отца. Тут Князь Волконский. Кто не знает его кончины под Очаковым? Кто не оплакал отважности его геройской: я впервые тогда почувствовал восторги славы <...> Здесь предана земля нежная отрасль Царского Дома. <...> Принц Виртембергский» [20. С. 196].

Наиболее положительно охарактеризован в тексте Николаев, названный автором «любимым» [20. С. 176] и всячески выделяемый на фоне иных городов: «Я купил здесь сукна, для того только, чтоб носить Николаевской Фрак. Вот первая вывеска моего пристрастия к этому городу!» [20. С. 112]. В целом топос охарактеризован масштабностью, упорядоченностью, наполненностью (в противоположность пустой степи), привлекательностью: «он назначался быть огромным <...>. Обывательских домов довольно, казарм и слобод также; улицы широки и правильны <...> все можно достать»; дом Военного Губернатора «велик и хорошо убран» [20. С. 112]. Особое место в репрезентации Николаева занимает мотив водности, выраженной, во-первых, в речных топосах Ингула и Буга, противопоставленных друг другу. Первая река маркирована нечистотой («нечистой водой» [20. С. 105]) и непривлекательностью («река нехороша, потому что заплывает почти вся камышами»), вторая – привлекательностью, быстротой и полноводностью: «Буг мне чрезвычайно показался. Протяжение сей реки в длину невелико: но как в ней много воды! Как она инде широка, горда, рьяна!» [20. С. 111]. Во-вторых, город связан с морем, что актуализировано в локусах верфи («Главный предмет внимания в Николаеве есть корабельная верфь» [20.

С. 111]) и Адмиралтейства, маркированного также масштабностью и привлекательностью («большой каменный и прекрасный дом» на «большой площади»: «вид строения отвечает колоссальным намерениям» Потемкина [20. С. 113]) и совмещающего черты ургийной и образовательной сфер (сублокусы «мастерских палат» «для кузнечных» и «всяких медных поделок» [20. С. 115], Штурманской школы и Адмиралтейского депо, «хранилища разных орудий и книг» [20. С. 116]). Здесь же хранятся артефакты, связанные с пространством исторической памяти: выкопанные в Ольвии «два камня нарочитой величины из чистого белого мрамора» с античными надписями [20. С. 115] и «две доски мраморные с надписями Турецкими», найденные «при взятии Анапы» [20. С. 117]. Также николаевский собор отмечен масштабностью, но при этом непривлекательностью: «Собор ни живописью, ни красотой убранства не щеголяет; лишь одной огромностью своей важен» [20. С. 113–114].

Сильнее амбивалентность проявлена в репрезентации Одессы. Помимо вышеупомянутых локусов садов и собора, положительно охарактеризованы дома, маркированные надежностью, привлекательностью, относительной масштабностью, каменностью, задающей признак как столичности, так и античности: «такой дом простоит лет сто. <...> Выбеленный дом никакой разницы не кажет с лучшими кирпичными оштукатуренными домами в столицах, а без подмазки дом из такого камня похож очень цветом своим и отливом мелких его раковин на древние строения. Таков и карантин – прекраснейшее здание» [20. С. 137]; «строения много в городе; есть дома в два этажа, и несколько зданий весьма примечательных» [20. С. 139]. Масштабность, чистота, упорядоченность подчеркнуты и в описаниях локусов военного училища, лазарета, клубной залы, театра, торговых рядов: «Дом... училища <...> велик, опрятен и хорош; все содержание детей отменно рачительно <...>. Учителей содержат за дорогую плату и лучших, каких достать можно»; «Одесса может хвастать... Лазаретом: я до сих пор нигде не видал такого хорошего. <...> залы для помещения больных превеликие <...> все средства к очищению воздуха приняты; ...можно гулять по тамошней больнице, как в самой чистой большого барина зале <...>. Распорядок ее основателен» [20. С. 151]; «Для балов <...> есть клубная зала <...>. Вид галереи... величествен: она искусно расписана. ...покои для карт и стола также хорошо убраны. Зала поместить может человек до 600»; «Театр – одно из прекраснейших зданий в городе и на лучшем месте. <...> Все устроено с наилучшим размером и со вкусом» [20. С. 153]; «жители города толпятся в рядах. Линия их вытянута большая, каменная, и товаров разных много <...> лавки в Одессе приятное гульбище» [20. С. 142–143]. В целом автор подчеркивает «красоту сего нового края» [20. С. 140], «прекрасную натуру» [20. С. 177]. При этом как новый город Одесса отмечена чертой недоупорядоченности: «задумано... сделать тротуары... но еще о пользе их судить нельзя – предприятие новое» [20. С. 139]; «купеческая (гавань. – С.Ж.) еще не отделана» [20. С. 140]; «Одесса, по недавнему своему образованно, очень

хороша, но что она еще ни в сотую долю не доведена до того степени превосходства во всех частях, до какого назначает ей сама натура и ее точка во вселенной» [20. С. 165–166].

Степная энтропийность, выраженная мотивами пыли, зноя, ветра, вони, насекомых, безлесности, неуюта, также проникает в одесское пространство: «поднялась сильная буря; все около города пески: пыль закружилась столбом» [20. С. 133]; «Внутри города в редком доме можно найти спокойное убежище. Если не палит зной, <...> то страшная пыль по улицам поднимается столбом и вселяется облаками в вашу комнату, потому что редкой день не ветрено в Одессе; или несказанная тьма мошек и мух одолеют вас <...> Вот самое беспокойное неудобство здешнего места! <...> никто здесь не живешь прежде ночи: жарко, душно, пыльно!» [20. С. 138]; «Камень здешний на улицы не годится: он бы тотчас измолосся в пыль от трения колес; от того и мостовых нет, и пыль столбом крутится» [20. С. 138–139]; насаженные деревья «украшали бы очень город, если бы пыль не портила зелени» [20. С. 139]; «ни полена дров, топи кизяком, от которого воняет; пыль, мухи, зной, или холодный ветер: какая мука!» [20. С. 165]. Ольфакторная и визуальная непривлекательность, неуютная открытость маркируют одесские места морского купания: «море открыто, отмели зелены и зловонны; надобно далеко объезжать и искать чистого берега для плавания. Нигде купальни нет, ни ванны закрытой; следовательно, всякий любопытный может смотреть на вас в самую нечаянную минуту» [20. С. 152]. Сочетанием мотивов привлекательности и непривлекательности отмечена пейзажная панорама города: «Последняя станция лежит на прекрасном месте, у самого берега Черного моря; отсюда уже видна Одесса. Представьте наше восхищение; но вид города умерил восторги; ибо он издали неказист» [20. С. 132]. Небольшое количество церквей и колоколен, маркирующее Одессу как пространство Чужого, усиливает мотив непривлекательности города: «Для всех тех, кои привыкли к Русским городам, всякий иностранный (и Одесса строится... на манер такой же) покажется с виду нехорош. <...> В Одессе церквей мало, колоколен нет, ничто не выходит из кучи равного строения; и так первый на нее взгляд не обворожает» [20. С. 132]. Также непривлекательными описаны локусы многих одесских домов, которые прежде всего функциональны, а не эстетичны, что придает городу, по мнению Долгорукого, провинциально-ориентальный (турецкий) облик: «не дают домам хороших фасадов <...> о наружности домов частных недумано, и от этого с первого взгляда на строение Одесса может названа быть пространными Гаджибеем» [20. С. 139]. Амбивалентным выступает и мотив торговли, которая, с одной стороны, «красит Одессу и делает ее подлинно золотым дном», с другой стороны, будучи прежде всего транзитной, «отняла у нее все свои прелести, быв остановлена обстоятельствами» [20. С. 140]. Долгорукий отмечает дороговизну товаров («дороговизна во всем, кроме вин Греческих» [20. С. 141]) и даже отсутствие некоторых из них, например, апельсинов, которые оптом скупает Москва [20. С. 165]. Ориентированное на коммерцию пространство характеризуется мотивами и богатства, и одновременно

скуки, закрытости, отсутствия публичной роскоши: «Многие богатые купцы, особливо Греки, очень скупы, имеют свои конторы, но сами редко живут при них, а насылают приказчиков, кои не в праве роскошничать» [20. С. 163]; «город не ожитворен, он мне показался скучен» [20. С. 163–164]; «в Одессе самой нет еще роскоши столичных городов, при всей изящности ее местоположения» [20. С. 164]; «никакого общества, все сидят по домам и живут из барыша» [20. С. 165]; «С расчетом жить во время торговли – найдешь себя в обетованной земле; но для удовольствия еще рано сюда переселяться» [20. С. 165]; «долго еще о ней хвастать надобно будет в журналах, чтоб заманить туда любопытного» [20. С. 166]; «несносные последствия, скука, тоска» [20. С. 176]. Соответственно, Одесса оказывается в этом смысле анти-Парижем, «нетуристическим» топосом, не оправдывая во многом надежд нарратора, объявленных в начале текста.

Таким образом, репрезентацию Новороссии в travelogue Долгорукого отличают остранинность, травестийность и амбивалентность, проистекающая из фронтирности описываемого пространства. Освоение последнего изображено как в военном (отвоевывание земель у турок), так и мирном (колонизация) смыслах. Фронтирность предполагает мотивы новизны и при этом неустойчивости (социальной, экономической, климатической и т.п.). Маркером Новороссии выступает и пестрота в этническом и религиозном планах, соединение западности и восточности (азиатскости) в характеристике пространства. В новороссийскую репрезентацию входят также мотивы маргинальности (образы каторжников, воров, беглецов), большей степени свободы в силу неустойчивости на новых землях власти и законов и потенций развития, больших возможностей, что, в свою очередь, актуализирует мотив ургии, упорядочивающей пространство, и мифопоэтических образов «демиургов»-упорядочивателей. В связи с этим можно выделить ряд ключевых образов новороссийской персониферы: императрицы Елизавета и Екатерина, Потемкин, Фалеев, де Траверсе, Дюк де Ришелье, большая часть которых связана как с военным, так и мирным освоением новых земель. Исключительно с батальным пространством, маркированным мотивом славы, соотнесены образы Миниха, Суворова, Волконского, Горича, Миллеров, Принца Виртембергского. При этом наиболее значительным в семиотизированной новороссийской истории является, по Долгорукому, мифологизированный, частично остранинный и травестируемый образ Потемкина *genius loci* Новороссии, «теофания» которого ярче всего проявлена в топосе Николаева, в особенности в сентименталистских описаниях его окрестностей – садов Спасского и Богоявленского. Мотив неустойчивости, в связи с этим, порождает мотивы нереализованных потенций, разрушения планов, забвения исторических свершений, характерный для потемкинской образности.

Мотив фронтирной новизны по-разному актуализирован в локальных вариантах Новороссии. Так, в пространстве степи новизна выступает как энтропийность и маркирована дикостью, пустотой, скукой, ужасом, безлюдностью, безлесностью, безводностью, жарой, неуютом, разорением, смер-

тью. Впрочем, наличие в хаотическом топосе нереализованных пока возможностей обуславливает мотив потенциального изобилия степи. Различное сочетание черт энтропии и порядка характеризует описание демиприродных и урбанистических топосов Новороссии – от провинциальных, пустых, скучных селений и городков до высокоорганизованного пространства крупных городов и, в особенности, локусов садов, представляющих собой «антистепь». Среди триады ключевых новороссийских городских топосов описание Херсона Долгоруким отличается наибольшей энтропийностью, а Николаева – наименьшей. Срединный вариант являет образ амбивалентной Одессы, показанной пространством в становлении, не реализовавшим еще своих потенций в силу новизны и политико-экономических обстоятельств и выступающим «анти-Парижем» в контексте травелога.

Список источников

1. *Марчуков А.В.* Образ Украины в русском сознании. Николай Гоголь и его время. М. : Регнум, 2011. 294 с.
2. *Васильева Т.А.* У истоков украинофильства: образ Украины в российской словесности конца XVIII – первой четверти XIX века : дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2014. 232 с.
3. *Курьянов С.О.* Об украинском тексте в русской романтической литературе // Динамика языковых и культурных процессов в современной России. 2018. № 6. С. 765–770.
4. *Курьянов С.О., Рыжман Я.В.* Крымский миф в сентиментальных произведениях П.И. Сумарокова // Вопросы русской литературы. 2014. № 30 (87). С. 216–222.
5. *Петрова Э.Б., Прохорова Т.А.* Севастополь и его ближайшая округа в сочинениях московских путешественников по Крыму конца XVIII – первой половины XIX века // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Исторические науки. 2015. Т. 1, № 1. С. 48–77.
6. *Курьянов С.О.* О крымском тексте и формировании свертхтекста // Современная картина мира: крымский контекст: коллективная монография. Кн. 1. Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2017. С. 90–116.
7. *Лисицына Е.Ю.* Крымский миф в русской литературе рубежа XIX–XX веков : дис. ... канд. филол. наук. Симферополь, 2019. 179 с.
8. *Орехов В.В.* Миф о разрушении Херсонеса: эпизод литературного освоения Крыма // Имагология и компаративистика. 2021. № 15. С. 194–213. doi: 10.17223/24099554/15/12.
9. *Курьянов С.О., Новикова М.А.* Ифигениев текст как субтекст крымского текста (о формировании ифигениевого мифа) // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2022. № 4. С. 121–130.
10. *Фарафонова О.А.* Ориентальный травелог Павла Сумарокова («Досуги крымского судьи, или второе путешествие в Тавриду») // Научный диалог. 2017. № 7. С. 70–82.
11. *Алексеев П.В., Жданов С.С., Шарыпова В.С.* «Полуденная Россия» в ориентальном травелогe Н.С. Всеволожского // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XX Международный научный конгресс, 15–17 мая 2024 г., Новосибирск : сб. материалов : В 8 т. Т. 5: Международная конференция «Электронное геопространство: философско-гуманитарное и социально-правовое измерение». Новосибирск : СГУГиТ, 2024. С. 82–92. doi: 10.33764/2618-981X-2024-5-82-92
12. *Панов А.С.* Амбивалентность образа Одессы в репрезентациях русских и американцев в первой трети XIX в. // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История.

Международные отношения. Зарубежное регионоведение. Востоковедение. 2016. № 2 (4). С. 110–119.

13. *Жданов С.С.* Репрезентация пространства Новороссии в «Путешествии по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году» П. И. Сумарокова // Научный диалог. 2024. Т. 13, № 5. С. 215–239. doi: 10.24224/2227-1295-2024-13-5-215-239

14. *Морозова Н.Г.* К вопросу об изучении русской дневниковой прозы XVIII века // Высшее гуманитарное образование XXI века: проблемы и перспективы : материалы пятой междунар. науч.-практ. конф. Самара : ПГСГА, 2010. С. 370–374.

15. *Гуминский В.М.* «Письма русского путешественника» в контексте развития русской литературы путешествий // Литературоведческий журнал. 2017. № 40. С. 74–145.

16. *Беляков С.С.* Русский взгляд на украинца // Вопросы национализма. 2015. № 2 (22). С. 80–91.

17. *Васильева Т.А.* «Любовь к стране своей родной и к притеснителям презренье...»: национализация древнерусского прошлого и конструирование образа Малороссии в ранней романтической словесности // Имагология и компаративистика. 2016. № 1 (5). С. 5–29. doi: 10.17223/24099554/5/1

18. *Шаталов Д.В.* «Путевая литература» начала XIX в. и формирование историографического образа украинского казачества // Мир историка: историографический сборник. Вып. 9. Омск : Изд-во ОмГУ, 2014. С. 224–240.

19. *Куликова А.А.* Путевая проза в русской литературе конца XVIII – начала XIX века // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2008. № 4 (60). С. 241–243.

20. *Долгорукий И.М.* Славны бубны за горами, или Путешествие мое кое-куда 1810 года. М. : Университетская типография (Катков и К^о), 1870. 355 с.

21. *Лотман Ю.М., Успенский Б.А.* «Письма русского путешественника» Карамзина и их место в развитии русской культуры // Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. Л. : Наука, 1984. С. 525–606.

22. *Жданов С.С.* Образ «пестро-лоскутной» Германии в поэзии П.А. Вяземского // Два века русской классики. 2024. Т. 6, № 1. С. 6–37. doi: 10.22455/2686-7494-2024-6-1-6-37

23. *Топоров В.Н.* Ветхий дом и дикий сад: образ утраченного счастья // Облик слова. М. : Русские словари, 1997. С. 290–318.

References

1. Marchukov, A.V. (2011) *Obraz Ukrainy v russkom soznanii. Nikolay Gogol' i ego vremya* [The Image of Ukraine in the Russian Consciousness. Nikolai Gogol and his time]. Moscow: Regnum.

2. Vasil'eva, T.A. (2014) *U istokov ukrainofil'stva: obraz Ukrainy v rossiyskoy slovesnosti kontsa XVIII – pervoy chetverti XIX veka* [At the origins of Ukrainophilia: the image of Ukraine in Russian literature of the late 18th – first quarter of the 19th century]. Philology Cand. Diss. Tomsk.

3. Kur'yanov, S.O. (2018) Ob ukrainskom tekste v russkoy romanticheskoy literature [On the Ukrainian text in Russian Romantic literature]. *Dinamika yazykovykh i kul'turnykh protsessov v sovremennoy Rossii*. 6. pp. 765–770.

4. Kur'yanov, S.O. & Ryzhman, Ya.V. (2014) Krymskiy mif v sentimental'nykh proizvedeniyakh P. I. Sumarokova [The Crimean myth in the sentimental works of P.I. Sumarokov]. *Voprosy russkoy literatury*. 30 (87). pp. 216–222.

5. Petrova, E.B. & Prokhorova, T.A. (2015) Sevastopol' i ego blizhayshaya okrugа v sochineniyakh moskovskikh puteshestvennikov po Krymu kontsa XVIII–pervoy poloviny XIX veka [Sevastopol and its surrounding area in the writings of Moscow travelers to Crimea

from the late 18th to the first half of the 19th century]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Istoricheskie nauki*. 1 (1). pp. 48–77.

6. Kur'yanov, S.O. (2017) O krymskom tekste i formirovanii sverkhteksta [On the Crimean text and the formation of a supertext]. In: *Sovremennaya kartina mira: krymskiy kontekst* [The modern picture of the world: the Crimean context]. Book 1. Simferopol: IT "ARIAL". pp. 90–116.

7. Lisitsyna, E.Yu. (2019) *Krymskiy mif v russkoy literature rubezha XIX–XX vekov* [Crimean myth in Russian literature at the turn of the 19th and 20th centuries]. Philology Cand. Diss. Simferopol.

8. Orekhov, V.V. (2021) The myth of the Chersonesus destruction: an episode of the literary development of Crimea. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 15. pp. 194–213. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/15/12

9. Kur'yanov, S.O. & Novikova, M.A. (2022) Ifigeniev tekst kak subtekst krymskogo teksta (o formirovanii ifigenievogo mifa) [The Iphigenian text as a subtext of the Crimean text (on the formation of the Iphigenian myth)]. *Severo-Vostochnyy gumanitarnyy vestnik*. 4. pp. 121–130.

10. Farafonova, O.A. (2017) Oriental'nyy travelog Pavla Sumarokova ("Dosugi krymskogo sud'i, ili vtoroe puteshestvie v Tavridu") [Pavel Sumarokov's oriental travelogue (The Leisure Time of a Crimean Judge, or the Second Journey to Taurida)]. *Nauchnyy dialog*. 7. pp. 70–82.

11. Alekseev, P.V., Zhdanov, S.S. & Sharypova, V.S. (2024) ["Midday Russia" in the oriental travelogue of N.S. Vsevolozhsky]. *Interespo GEO-Sibir'* [Interexpo GEO-Siberia]. Proceedings of the 20th International Conference. Vol. 5. Novosibirsk. 15–17 May 2024. Novosibirsk: SGUGIT. pp. 82–92. (In Russian). doi: 10.33764/2618-981X-2024-5-82-92

12. Panov, A.S. (2016) Ambivalentnost' obraza Odessy v reprezentatsiyakh russkikh i amerikantsev v pervoy treti XIX v. [Ambivalence of the image of Odessa in the representations of Russians and Americans in the first third of the 19th century]. *Vestnik RGGU. Seriya: Politologiya. Istoriya. Mezhdunarodnye otnosheniya. Zarubezhnoe regionovedenie. Vostokovedenie*. 2 (4). pp. 110–119.

13. Zhdanov, S.S. (2024) Reprezentatsiya prostranstva Novorossii v "Puteshestvii po vsemu Krymu i Bessarabii v 1799 godu" P. I. Sumarokova [Representation of the Novorossiya space in P.I. Sumarokov's Journey Across Crimea and Bessarabia in 1799]. *Nauchnyy dialog*. 5 (13). pp. 215–239. doi: 10.24224/2227-1295-2024-13-5-215-239

14. Morozova, N.G. (2010) [On the study of 18th-century Russian diary prose]. *Vyshee gumanitarnoe obrazovanie XXI veka: problemy i perspektivy* [Higher Humanitarian Education in the 21st Century]. Proceedings of the 5th International Conference. Samara. 20–21 September 2010. Samara: Samara State University of Social Sciences and Education. pp. 370–374. (In Russian).

15. Guminskiy, V.M. (2017) "Pis'ma russkogo puteshestvennika" v kontekste razvitiya russkoy literatury puteshestviy [Letters of a Russian Traveler in the context of the development of Russian travel literature]. *Literaturovedcheskiy zhurnal*. 40. pp. 74–145.

16. Belyakov, S.S. (2015) Russkiy vzglyad na ukrainsa [A Russian view on the Ukrainian]. *Voprosy natsionalizma*. 2 (22). pp. 80–91.

17. Vasil'eva, T.A. (2016) "The love of his native country and the contempt to oppressors...": Nationalization of the Old Russian past and the construction of Ukraine's image in the early Romantic literature. *Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies*. 1 (5). pp. 5–29. (In Russian). doi: 10.17223/24099554/5/1

18. Shatalov, D.V. (2014) "Putevaya literatura" nachala XIX v. i formirovanie istoriograficheskogo obraza ukrainskogo kazachestva ["Travel Literature" of the early 19th century and the formation of the historiographic image of the Ukrainian Cossacks]. In: *Mir istorika: istoriograficheskiy sbornik* [The World of a Historian: Historiographic Collection]. Vol. 9. Omsk: Omsk State University. pp. 224–240.

19. Kulikova, A.A. (2008) Putevaya proza v russkoy literature kontsa XVIII – nachala XIX veka [Travel prose in Russian literature of the late 18th – early 19th centuries]. *Uchenye zapiski Rossiyskogo gosudarstvennogo sotsial'nogo universiteta*. 4 (60). pp. 241–243.

20. Dolgorukiy, I.M. (1870) *Slavny bubny za gorami, ili puteshestvie moe koe-kuda 1810 goda* [Glorious Drums Beyond the Mountains, or My Journey Somewhere in 1810]. Moscow: Universitetskaya tipografiya (Katkov i Ko).

21. Lotman, Yu.M. & Uspenskiy, B.A. (1984) "Pis'ma russkogo puteshestvennika" Karamzina i ikh mesto v razvitii russkoy kul'tury [Karamzin's Letters of a Russian Traveler and their place in the development of Russian culture]. In: Karamzin, N.M. *Pis'ma russkogo puteshestvennika* [Letters of a Russian Traveler]. Leningrad: Nauka. pp. 525–606.

22. Zhdanov, S.S. (2024) Obraz "pestro-loskutnoy" Germanii v poezii P.A. Vyazemskogo [The image of a "motley-patchwork" Germany in the poetry of P.A. Vyazemsky]. *Dva veka russkoy klassiki*. 1 (6). pp. 6–37. doi: 10.22455/2686-7494-2024-6-1-6-37

23. Toporov, V.N. (1997) Vetkhiy dom i dikiy sad: obraz utrachennogo schast'ya [An old house and a wild garden: the image of lost happiness]. In: Krysin, L.P. (ed.) *Oblik slova* [The Face of the Word]. Moscow: Russkie slovari. pp. 290–318.

Информация об авторе:

Жданов С.С. – д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник ЯЦ «Лингва» Новосибирского государственного технического университета (Новосибирск, Россия); заведующий кафедрой языковой подготовки и межкультурных коммуникаций Сибирского государственного университета геосистем и технологий (Новосибирск, Россия). E-mail: fstud2008@yandex.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Information about the author:

S.S. Zhdanov, Dr. Sci. (Philology), leading research fellow, Novosibirsk State Technical University (Novosibirsk, Russian Federation); head of the Department of Language Training and Intercultural Communications, Siberian State University of Geosystems and Technologies (Novosibirsk, Russian Federation). E-mail: fstud2008@yandex.ru

The author declares no conflicts of interests.

*Статья поступила в редакцию 25.09.2024;
одобрена после рецензирования 01.02.2025; принята к публикации 31.10.2025.*

*The article was submitted 25.09.2024;
approved after reviewing 01.02.2025; accepted for publication 31.10.2025.*